ЮРИЙ НАГИБИН

НАУКА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Литературный портрет знаменитого норвежского писателя Юхана Боргена с точки зрения советского писателя.

- Юрий Маркович Нагибин
  - ○

Юрий Маркович Нагибин
Островитянин
(Сон о Юхане Боргене)

Литературный портрет

Вот никогда не думал, что Юхана Боргена, знаменитого Юхана Боргена так трудно найти. Он не только самый большой из ныне здравствующих писателей Норвегии, но и один из лучших писателей современной мировой литературы. Норвежцы любят говорить с полуискренним смирением, что у них «маленькая страна», хотя по европейским масштабам территория Норвегии довольно значительна — и, главное, взгляните на карту: скандинавская «собака» лакает из Северного моря, а хвост купается в Баренцевом, далеко за Полярным кругом. Однажды мне пришлось лететь из Осло в Киркенес — со всеми остановками, и это напомнило мне по тягомотной длительности сибирские перелеты. Очевидно, норвежцы имеют в виду народонаселение: четыре с половиной миллиона, конечно, немного, особенно для такого пространства. И в этом малолюдстве великий писатель затерялся, как иголка в стогу сена. Найти Боргена оказалось делом весьма и весьма непростым, хотя в Осло, как меня уверяли, живет его дочь — писательница Ане Борген, но и она куда-то запропастилась.

Я обращался к людям, близким писательской среде: переводчикам, журналистам, литературоведам, издательским работникам, но таяли стремительно, апрельскими сосульками, мои недолгие норвежские дни, а создатель «Маленького лорда» оставался неуловим. А я-то думал, что любой прохожий, стоит мне произнести заветное имя «Борген», возьмет меня за руку и отведет к тому, кто в глазах всего света является гордостью Норвегии.

Быть может, мои знакомые шли по ложному следу, еще более вероятно, что они не столько искали, сколько выжидали с великим норвежским хладнокровием, что Юхан Борген объявится сам. Так некогда Фритьоф Нансен, впаяв в лед свой корабль «Фрам», терпеливо ждал, куда его вынесет движением ледовых арктических масс. Но мой «Фрам» никуда не двигался, на этот счет вскоре отпали последние сомнения, и я забил тревогу.

Второй раз Борген ускользал от меня, но тогда я сам был виноват: поделикатничал, не проявил достаточной настойчивости, а сейчас я двумя кулаками стучался в глухие двери той удивительной норвежской пассивности, основанной на каких-то неведомых остальным европейцам табу, что так затрудняет приближение к душе потомков викингов.

Норвежцы похожи на японцев — в который раз подумалось мне. Вроде бы что общего у рослых, бледнокожих, светловолосых и светлоглазых, неторопливо-задумчивых северян с низенькими, быстрыми, черноголовыми, прячущими ночь в узком разрезе глаз, рассыпающими любезно-необязательные улыбки насельниками страны, видящей, как рождается в океане солнце, а сходство, глубинное сходство, несомненно и значительно. Их роднит загадочность и несоответствие общечеловеческому стереотипу. У них сходный кодекс вежливости, правил поведения: боже упаси громко разговаривать, азартно спорить, навязывать свое мнение другому, проявлять слишком открыто свои чувства, будь то радость или горе, боль или сострадание (решительно исключаются: досада, раздражение, капризы, дурное настроение, рассеянность), с завыванием читать стихи, что-то напевать или насвистывать про себя. И при великой внешней покладистости — неодолимое, приводящее в отчаяние упрямство, несдвигаемость с мертвой точки.

Быть может, слишком много значили в жизни этих наций стихии — на географических картах Япония кажется лепестком на синей безбрежности; морские волны окатывают Норвегию с трех сторон, а море, как известно, учит терпению и мужеству, немногословию и дьявольскому упрямству. Умеют перемогать и настаивать на своем тихие бесстрашные рыбари, умеют ждать их жены. В Норвегии душу и тело испытывают северные ветры, над Японией гуляют тайфуны.

Господи, как далеко завела меня простая мешкотность моих друзей и знакомых в отыскании местожительства Юхана Боргена! Робкое предложение позвонить в газету «Дагбладет», где Борген сотрудничает, или в издательство «Гильдендаль», где вышла его последняя книга, не то чтобы отвергалось, а пропускалось мимо ушей с далекой, едва различимой улыбкой как нечто не совсем пристойное. Тут и меня осенило: в самом деле, некрасиво, даже неприлично вызнавать адрес писателя в учреждениях, с которыми он связан деловыми отношениями. В какое положение мы их ставим: а если Боргену нежелательна эта встреча, если он болен или вообще избегает людей, если он охвачен мизантропией, жаждет уединения, или углубился в новую работу, или, или, или… Член семьи, друг — словом, частное лицо еще может дать

его адрес на свой страх и риск, но газета, издательство — разве им к лицу бесцеремонно распоряжаться покоем и временем своего уважаемого пожилого сотрудника? Они не имеют права брать на себя такую ответственность, ставить под удар собственную репутацию, наконец!..

Норвежский гипноз действовал: я стал думать о нехитром деле в категориях преувеличенной ветхозаветной щепетильности, стародевичьей деликатности. А может, так и надо жить? Ведь есть в этой церемонности, осторожности, боязливой бережности какая-то печальная, с горьковатым ароматом увядших цветов, тонкая прелесть. Отношения между людьми становятся хрупко драгоценными и… невозможными. Разве совместима подобная деликатная канитель с нашим подвижным, переменчивым, быстрым и непостоянным веком? Еще немного — и я не увидел бы Юхана Боргена, теперь уже навсегда. И не было бы этих записок, что не такая уж большая беда, но не было бы и письма Боргена, присланного после нашей встречи, а это, как убедится читатель в своем месте, беда, да и немалая. И с теплым чувством обращаюсь я к отечественной простоте. Ну в каком бы нашем издательстве, газете, журнале затруднились дать мой адрес и телефон кому угодно? И звонят, и пишут, и даже валятся как снег на голову начинающие авторы, старые графоманы, мнимые родственники и соученики, какие-то ищущие девицы, равно и поиздержавшиеся в дороге, и просто сумасшедшие. Но пусть так будет всегда ради одной невероятной возможности: вдруг мои координаты понадобятся Юхану Боргену.

И все же неделя не пропала даром: установили, что писателя нет в Осло. А там уж и не знаю, какие таинственные силы сработали, быть может, молчаливый норвежский бог? — но стал известен адрес Боргена и даже номер его далекого телефона. Загородное обиталище писателя находилось километрах в ста от Осло, на острове, почему-то в Норвегии принято говорить: на островах. Как будто островитянин переносит свое легкое, съемное жилье с острова на остров. Быть может, когда-то так и делалось: выбил кабанов и оленей, переловил кроликов и куропаток, истощил каменистую почву и перебрался на другой остров, предоставив прежнему восстанавливать убыль. Борген жил на острове Асмалене, и еле слышный, текущий но тонкому проводу, все время затухающий, теряющийся в воздушном океане голос его жены прошелестел, что он рад гостям, их сын будет ждать нас в полдень с моторкой, чтобы перевезти через пролив.

Почему я так упорно рвался к Боргену? Должен признаться, знаменитости, особенно литературные, никогда не привлекали меня. Пушкин говорил: поэт весь в своих словах. То бишь нечего

ждать, будто личное знакомство что-то прибавит к наслаждению его музой. Надменный Гримм писал Жан-Жаку Руссо: «Дайте мне наслаждаться Вашим прекрасным талантом и избавьте меня от Вашей неприятной личности». Требование дерзкое, но примечательное. Впрочем, немногие великие люди, которых я знал, вызывали во мне восхищение и глубокую нежность, а отнюдь не разочарование, но все равно, сам не знаю почему, знаменитости мне противопоказаны.

Роман Юхана Боргена «Маленький лорд» потряс меня, как мало что в мировой литературе. Я могу сравнить впечатление, произведенное им, лишь с открытием для себя прозы Пруста, с «Уллисом» Джойса, с романом Томаса Вульфа «Взгляни на дом свой, ангел», с неистово-поэтичным бредом Маркеса «Сто лет одиночества». Каждое из этих произведений было рождением неведомого мира, с каждым я сам рождался наново, обогащенный новым знанием безмерных человеческих глубин, ошеломленный неисчерпаемостью литературных средств.

В «Маленьком лорде» нет новаторства формы, он вполне традиционен, в духе старого, привычного европейского романа, где жизненная история героя, выходца из буржуазной среды, излагается в хронологическом порядке, от дней безмятежного детства. Название, перекликающееся с известной умилительно-сопливой детской книжкой Барнетта «Маленький лорд Фаунтлерой», как бы призвано подчеркнуть добропорядочный настрой романа. Но в этом заключена жестокая, беспощадная ирония Боргена, умеющего быть таким добрым в своих рассказах о простых людях Норвегии, а здесь вдохновенно, скрупулезно и въедливо, с поразительными озарениями прослеживающего историю своего врага Вилфреда Сагена («Маленький лорд» — лишь первая часть трилогии), врага всех нас: высокоодаренного подростка, потом юноши, ставшего в роковой час норвежской истории предателем своего народа, пособником фашистов. Самое же удивительное, что роман, хоть он и не от первого лица, написан как бы изнутри центрального образа. Проникновение автора в суть странного мальчика с локонами до плеч — потому и зовет его Маленьким лордом любящая мать, усердно культивирующая нежный инфантилизм в быстро мужающем сыне, — столь глубоко, что он как бы сливается с ним, и нельзя отделаться от ощущения, будто это написано о самом себе. Кстати, Борген и социально близок своему герою — сын видного юриста, выласканный материальным переизбытком в сочетании с духовной утонченностью. В изображаемую Боргеном эпоху именно эта среда формировала крайних индивидуалистов, что в пору второй мировой войны и оккупации Норвегии повернулись к

фашизму. Но как сочетать это с отчетливой автобиографичностью романа?

Юхан Борген последовательный антифашист, угодивший за свои убеждения, когда гитлеровцы заняли Норвегию, в квислинговский застенок. Такова принятая у нас версия его ареста. Но в Норвегии я узнал, что вовсе не фельетоны, статьи, эссе, тонко язвившие оккупантов и коллаборационистов, привели Боргена в тюрьму Грини, — он был назначен связным между возглавившими норвежское Сопротивление коммунистами и «лондонским» правительством. Писатель может натянуть на себя любую личину, зажить в любой шкуре, но Борген не перевоплощался в Маленького лорда, он и есть Маленький лорд. Где и как расцепляется он со своим героем, когда из сообщника становится судьей — понять это значило бы понять очень много не только в самом Боргене, но и в природе творческого акта.

«Маленький лорд» загадывает трудные загадки. Я не знаю другого романа, столь прозрачного стилистически, столь сложного для постижения. Не замечаешь, как автор, легко и просто орудуя чисто бытовыми подробностями (при этом Борген вовсе не «бытовик», для него каждая присутствующая в мире вещь — знак некой высшей жизни), затягивает тебя в бездонные омуты, в такие грозные, темные глубины, что, даже умея плавать, ты начинаешь тонуть.

А как идилличны первые страницы! Торжественный семейный обед в богатом, нарядном норвежском доме. Любезно и важно принимает гостей трогательный хозяин, четырнадцатилетний мальчик с душистыми, до плеч локонами Вилфред Саген — Маленький лорд. Это милое прозвище нежно щекочет нёбо его прелестной матери, ведь оно — залог длящегося невинного детства сына и ее молодости, грустной вдовьей молодости — красивый, блестящий, даровитый муж рано покинул ее. Перед нами типично буржуазный дом благостной, но уже истекающей, уже пронизанной тревогой поры — канун первой мировой войны. Дом высокоинтеллигентный, духовный, утонченный, здесь не пахнет салом денег, и даже дядя-делец (а есть еще дядя-эстет, музыкант, знаток искусств) не излучает вульгарности, лишь бодрый, свежий практицизм.

Атмосфера создана, и читатель, уже поверивший мягкой и властной, легкой и мускулистой руке автора, готов с охотой следовать за ним в поэтичный мир одаренного, милого, странного мальчика с длинными волосами. Но уже в следующей главе эта добрая рука наносит читателю прямой в челюсть, от которого взбалтываются мозги в черепной коробке. Мальчик выпрашивает у матери разрешение пропустить школу, запасается у служанки

бутербродами, надевает новое элегантное пальто, опускает в шелковый карман электрический фонарик и отправляется добывать чистотел из-под талого снега для своего гербария. Да, если б так… На самом же деле он пробирается — с великими предосторожностями, достойными опытного преступника, — в квартал бедноты, где сперва провоцирует уличных мальчишек на столкновение, потом, ловко ошеломив их туповатые, доверчивые души фонариком-невидалью, приводит в покорность и подбивает на уголовщину: очистить кассу хозяина табачной лавки, жалкого старика. Мелкий и подлый грабеж удался. Сам Маленький лорд, конечно, не притронулся к деньгам, но, когда его сообщники убежали, двумя ударами поверг на пол несчастного старика, после чего спокойно покинул лавку и лишь затем до содрогания насладился воображаемой погоней, опасностью и счастливым избавлением.

Дикий поступок? Да. Но не более дикий, чем другое его деяние, тоже вроде бы ничем не вызванное. Однажды в исходе ночи он взял велосипед и помчался опять же в бедный квартал, но в другой, пригородный, и там развел между домами небольшой, но опасноватый костер. А затем, остановленный за езду без света, изо всех сил ударил коротышку-полицейского и вновь подарил себе ощущение погони, ужаса и спасения.

Что это — юный доктор Каллигари, давно в зубах навязший образ перевертня? О нет! Никакого раздвоения личности — Вилфред целен, как монета, в которой тоже две стороны, да ведь монета одна. Целен, как фальшивая монета. Но не будем забегать вперед. Что ж, читатель ныне опытный. Им немало читано-перечитано на тему такого вот ожесточенного, бессмысленного внешне, но глубоко органичного молодого бунта. И первое, что приходит на память, — Жюль из знаменитой эпопеи Роже Мартен дю Гара «Семья Тибо». Бунт одаренного юноши против затхлой буржуазной среды, ее лжи, лицемерия, сковывающих условностей, бунт порой нелепый, даже уродливый, но внутренней сутью своей здоровый, благородный, как и бессознательная тяга к людям другого класса. И все было бы очень просто, кабы было так… Но читатель скоро начинает чувствовать, что дикие бунтарские выходки Вилфреда лишены социальной подоплеки. Он всегда помнит, что он Маленький лорд, хотя претенциозное прозвище ему ненавистно, как и локоны до плеч, — просто вырос из этих атрибутов детства. Он тянется к низшим лишь для того, чтобы острее ощутить свое превосходство, свою избранность, утвердиться в презрении к тем, кто родился на теневой стороне жизни. Его бунт порожден стремлением освободиться от окружающего, создать свой собственный, замкнутый, никому не

доступный мир. И это не препятствует вспышкам любви-жалости к матери, к изысканному дяде Рене и даже к примитивному дяде Мартину — словом, к родной крови, и влюбленности в молодую тетку Кристину, и трепетной нежности к девочке Эрне, чьи губы шершавы от солнца и морской соли, и острой тяге к скрипачке Мириам, но все эти добрые чувства проявляются лишь к людям своего круга. Да, Жюлем Тибо тут и не пахнет!

Постепенно в книге нарастает тема редкой музыкальной одаренности Маленького лорда, которому по плечу — о хрупкое отроческое плечо! — все тайны Иоганна Себастьяна Баха, и меняется образный строй романа, ткань его становится легче, воздушней, поэтичней, и как легко дается Боргену это воспарение! Хоть он и не привязан к быту, его наблюдательный глаз цепко ловит все подробности жизни, обстающие человека, и будто сами собой возникают и натюрморт, и жанр, и городской пейзаж, но как же легко взлетает он по лунному лучу туда, где в хрустальной чистоте звучит лишь музыка сфер. Очарованный и несколько успокоенный читатель начинает думать, что ему предложен роман о трудном вызревании художественной натуры. В памяти оживает диковатый Юджин, герой романа Томаса Вульфа «Взгляни на дом свой, ангел», тоже окрашенного автобиографичностью. И принимаешь крайний субъективизм Вилфреда, его острые, порой враждебные отношения с окружающими, тайный конфликт с матерью, ожесточенное стремление скрыть от всех свое «я», и самолюбование принимаешь, и самовозвеличивание, и замыканье в раковину, и внезапный бросок к людям, и вечный поиск чего-то, и мучительные позывы созревающей плоти. До чего же непросто создается художник! Талант — дар божий, но и насмешка дьявола.

Не успев окрепнуть, сходство с вульфовским героем исчезает без следа. Пусть и не высказываемая прямо, цель индивидуалиста Юджина — в конечном счете — слиться с миром. Каждому истинному художнику необходим выход к людям, иначе зачем все, что он делает? Конечная и рано постигнутая цель Вилфреда — отделиться от мира непроницаемой стеной и тем обрести полную свободу. При этом Маленький лорд вовсе не освобождает мир от обязательств в отношении себя — ему должно получать из окружающего пищу для самоутверждения, любовь, удовольствия и удивление. Да, что-то непохоже на «портрет художника в юности»! Тем более что из патологического стремления скрыть свою внутреннюю жизнь он оборудовал рояль немой клавиатурой, и музыка из-под его пальцев звучит лишь ему одному. А вскоре он и сам онемел, заперев голос в сведенной судорогой гортани. И

пусть потом голос вернулся к нему, это не меняет сути дела и роковой предопределенности пути. Вот в какую черную дыру загнал Вилфреда бес сверхиндивидуализма. Дальше, как говорится, идти некуда. Ан есть еще шаг — за край, и герой совершает его в конце романа. Но здесь так смешалось реальное с символами, грубая правда жизни с видениями, проносящимися в воспаленном воображении героя, что финал романа во всей его сложности и не перескажешь. Если идти по поверхности, то дело выглядит так: движимый всегдашним стремлением ловить рыбу в мутной воде чужой социальной среды, пьяный Вилфред попадает в компанию двух проходимцев и проститутки, которые грабят его, раздевают, избивают и голого бросают в лесу. Дело осложнено тем, что к этим полупризрачным людям подтягиваются прежние, казалось бы, давно распутавшиеся узлы: совращение уличных мальчишек, покушение на хозяина табачной лавки — старик, представьте, умер от шока; ко всему еще скрипачка Мириам оказывается племянницей убитого старика, в память его она приходит играть на скрипке беднякам квартала. Бред заворачивается круто, образы, порождаемые ущербной совестью и диким страхом, переплетаются с явью, и уже не отделить правды от вымысла. Ко всему еще — и это не случайно — один из проходимцев вдруг выворачивается в социалиста… А завершается эта дьяволиада фантасмагорическим бегством голого, окровавленного, со сломанной рукой Вилфреда от преследующей его толпы (навязчивый кошмар всей его жизни) и отчаянным прыжком в море. Но тут, в море, и настигают откуда-то возникшие лодки, и чей-то голос вещает: «Теперь он от нас не уйдет». Сложный, запутанный узор раскрывается в очевидном символе краха индивидуализма и возмездии.

Не случайно голос принадлежит «человеку в рабочей блузе». Вилфред противопоставил себя всему миру, но один мир он в тайниках души любил — благоуханный, искусственный, фальшивый, порой невыносимый, но близкий всей кровью мир матери, дяди Рене и даже дяди Мартина, а другой — черный, луковый мир простонародья — боялся и ненавидел. И пытался причинить этому миру зло. И попался с поличным.

Но человек в блузе все-таки ошибся: Вилфред в конце концов попал совсем в иные руки. В последней части трилогии «Теперь он в наших руках» сверхиндивидуалист и человеконенавистник приходит к фашистам. Но незатухающая мысль о возмездии толкает его к самоубийству. Все закономерно. А как же Бах, Букстехуде, ведь было же это?.. Да, было. Один из самых мерзких нацистских преступников, палач Кальтенбруннер блестяще играл на рояле. Но это — к слову…

Казалось бы, при такой однозначности исчерпывающе точного решения не должно быть сложностей в понимании главного образа романа. Еще до войны появилось немало хороших книг, достоверно изображавших превращение обывателя в нациста. Игра там велась с открытыми картами: читатель заранее знал, куда его ведут, и хотел лишь, чтобы его не обманывали, не подсовывали облегченных решений. Стоящие писатели, вроде Георга Борна, создавали математически точные структуры, это было полезное, обогащающее чтение. Но колдовство Боргена не чета даже самой мастеровитой, квалифицированной литературе, если она без бога, он прядет не из льняной кудели, а из лунного света, но его нитку не оборвать.

Борген не решает заранее поставленной задачи, не строит систему доказательств, а зорко, и трепетно следит за своим героем, выколупывая его из всех укромий, из всех защитных оболочек, до которых тот столь увертливо охоч. А это совсем не просто, ибо лучше всего герой хоронится в темных углах души самого писателя или еще глубже — в тайниках подсознания. Борген, об этом уже говорилось, выходец из того же круга, что и Маленький лорд, его искушали те же соблазны, дразнили те же бесы, насылаемые временем, средой, модной философией, литературой, искусством. Разумеется, он был нормальным мальчиком из теплого тела, а не литературной схемой, то плохим, то хорошим, склонным и к детской жестокости, и к добрым порывам, к дерзостям и к постижению чужой жалостной сути. Он не был запрограммирован, как и всякий живой человек, он испытал губительные соблазны, но спасся, одолел волей к творчеству смертный грех индивидуализма. А вот столь близкий ему Маленький лорд не одолел, не пожелал одолеть, заглушил в себе чистый родник творчества и человечности ради призрачного торжества над окружающим, принял причастие дьявола и пал под обломками своей распавшейся личности. Взаимопроникновение автора и героя определило незаданность и глубину образа и вместе с тем крайне затруднило его охват. Признаюсь, я рассчитывал, что Борген поможет мне укрепиться в моем понимании романа и героя, а глядишь, приоткроет дверцу туда, куда мне не дано заглянуть по недоступности всей трилогии.

И еще мне хотелось хоть что-то понять в Норвегии. Ну хотя бы почему живые норвежцы так непохожи на свое литературное воплощение у лучших писателей, будь то Ибсен или Бьернсон, Унсет или Гамсун или современный нам Юхан Борген. А может, правильней сказать, что герои лучших норвежских книг мало похожи на тех норвежцев, что заполняют улицы Осло и Бергена, Драммена и Тронхейма. Так, во всяком случае, мне кажется.

Тут я должен обратиться к дням десятилетней давности. Тогда я приехал в Норвегию за материалом для сценария фильма «Красная палатка». Меня интересовала в первую очередь романтическая фигура великого путешественника Руала Амундсена. Взволнованный встречей со страной моих отроческих грез, я ожидал в каждом норвежце увидеть лейтенанта Глана, а в каждой норвежке — Эдварду. Когда о стране судишь по книгам, невольно попадаешь впросак. И юные богатырши, и длинноногие, спортивного напряжения спутники их, заполнявшие вечерние улицы Осло, обескураживали однозначностью простых своих устремлений к джазовой музыке, ледяному пиву, горячим сосискам, походам в горы с тяжелыми рюкзаками за спиной, спорту и кино. Их старшие соотечественники каменели в самодовольном спокойствии.

Я утешал себя тем, что Гланы, как им положено, скрываются в лесах, слушая мягкий постук еловых шишек о хвойный пастил, а Эдварды несут при них службу любви, томления и неверности.

И скользили мимо, не запоминаясь, оплывшие, равнодушные, отчужденные физиономии норвежских кинобоссов, не веривших в финансовый успех фильма и потому источавших арктический холод, любезно-безразличные маски ученых из института Арктики, которым невообразимо скучно было возвращаться усталой мыслью к далеким дням Амундсена и злосчастной экспедиции Нобиле, и сонные лица каких-то полуочевидцев тех грозных, повитых туманной дымкой событий, но Гланы… Гланов не было.

А потом поиск привел меня в дом-музей Амундсена, о существовании которого под боком у столицы и слыхом не слыхали мои многочисленные знакомые. Хранителем дома, пошедшего с торгов незадолго до гибели Амундсена (человек, подаривший родине Южный полюс и два великих северных пролива, разорился на своих экспедициях), был его племянник Густав, сын любимого брата.

Помню, наша машина, соскользнув с можжевелово-сосновой кручи, будто упала к крыльцу двухэтажного деревянного незатейливой архитектуры дома. Внизу простиралась пустынная, темно-синяя, жгуче отблескивающая вода фиорда; у песчаной кромки берега переваливалась с боку на бок, тревожимая набегающей волной, старенькая, рассохшаяся лодка; кроны сосен упирались в небо, сгущая над собой его синеву. От служебной постройки в нашу сторону шел, на ходу подтягивая старые штаны, загорелый пожилой человек с ярко-синими — уже издали — глазами.

— Капитан Амундсен! — представился он хриплым голосом.

До чего же похож на своего знаменитого дядю! Тот же рост, то же сухопарое сложение, то же сопряжение мускулов на худом выразительном лице, та же пронзительная, неистовая синь глаз. Лишь орлиная крутизна характерного амундсеновского носа выпрямилась в ущерб лицу, потерявшему в резкой силе. А так хорош! Особенно когда закурил, сжав краешком обветренных губ мундштук, и вдруг поглядел вдаль, по-орлиному прямо на солнце.

Мы поздоровались и сказали о цели нашего приезда. Густав Амундсен издал странный горловой звук — не то взрыднул, не то всхохотнул, а может быть, два противоречивых чувства одновременно вспыхнули в нем. Впоследствии я убедился, что странный этот горловой звук вообще характерен для норвежских мужчин, для наиболее эмоциональных из них. Коротким всхлебом натренированная в сдержанности и слегка одеревеневшая душа высвобождается. Он извлек ключ из глубокого кармана заношенных штанов, но стершаяся бородка проворачивалась вхолостую в замочной скважине. Амундсен что-то крикнул насквозь прокуренным, навек простуженным, но хорошим, добротным мужским голосом, и откуда-то, вся развеваясь на ветру, которого не было, юбкой, кофтой вроспуск, незаколотыми легкими волосами, улыбаясь большой улыбкой ярко-красного рта, возникла молодая женщина с громадной связкой ключей. Кем была она Густаву Амундсену? Дочерью?.. Женой?.. Подругой?.. В нем снова взрыднулось-всхохотнулось — вспышка радости-боли навстречу любимому существу. И я понял, что все-таки нашел Глана на этой земле. И Эдварду.

Но как ни крути, а при множестве встреч один Глан и одна Эдварда — маловато. А где же строитель Сольнес, кинувшийся с верхушки возведенной им башни, которая мне почему-то представляется силосной, где демоническая Геда Габлер, все время помнившая о пистолетах своего отца-генерала, где бунтарка Нора, где мятущийся Пер Гюнт, где Нагель, так мощно заряженный страданием, где вообще все прекрасные и странные герои великой норвежской литературы? Должны же быть у них прообразы. Или извелись сильные и своеобразные характеры в нынешней бюргерской тишине, прочном достатке, легкой осуществимости всех доступных желаний? Но ведь есть молодежь, и ей от века свойственно беспокойство. Последний вопрос я задал уже в нынешний приезд своему знакомому, государственному служащему.

«Есть беспокойная молодежь, — сказал он, зевая. — Даже экстремисты водятся. Но не придавайте этому чересчур большого значения, из экстремистов вырастают самые добропорядочные

буржуа: парусная яхта, загородный дом, рыбалка летом, лыжи зимой, заграничный туризм — в меру, счет в банке — желательно без меры, — вот на чем замыкается мир достигшего восковой спелости левака. Причудливые характеры вы встретите скорее в деревне, или среди рыбаков, или на севере, там люди не так заштамповались».

И все же правда, наверное, в том, что норвежцы разные. Есть и Тур Хейердал, и его прекрасный сын Тур-младший…

В пятницу вечером, да и в субботу утром, лучше не выезжать из Осло, будешь плестись в хвосте длиннющей вереницы машин. Норвежцы исступленно стремятся на природу: в горы, в лес, на берега фиордов, озер, рек. Кого ждет собственный дом, кого походная палатка или просто костер под открытым небом.

Но мы отправились к Юхану Боргену ранним утром обычного трудового дня, и неширокое, ровное, в меру извилистое шоссе было просторно, как и весь мир вокруг нас, и так же просторно было мыслям, то растекающимся по окружающему, то собирающимся вокруг Юхана Боргена и его удивительного романа.

Видно, я крепко задумался. Еще недавно стоило оглянуться, и был виден порт Осло, грузо-пассажирские пароходы, прогулочные яхты, катера ловцов креветок — улов быстро распродается прямо с борта жадным любителям даров моря, разноцветные моторки, большой, несколько устаревшего обличья пароход, подаренный жителями Осло королю Улафу, любящему море, парусные гонки (в прошлом отличный яхтсмен, чемпион), а на суше породистых лошадей, и тот тревожный размерами и непривычностью громозд, напоминающий издали доменную печь, который сейчас докрашивают в доке: установка для добычи нефти с морских глубин, сконструированная норвежскими инженерами. В территориальных водах Норвегии обнаружены громадные запасы нефти, которые уже начали разрабатывать.

Дорога раскручивалась спиралью меж поросших то буками и кленами, то соснами и елями круч; оголенные скальные выступы омыто изумрудились плюшевым мохом. Затем мы прострелили ухоженную чистую равнину, аккуратно размеченную проволочными квадратами выпасов, купами деревьев, домиками под дымно притемнившейся красной черепицей; изредка промелькивали островерхие кирки с непременной стаей ворон и галок под слабо проблескивающим утреннюю хмарь золотым крестом. Мир был юн, прохладен, росен, грудь распахнулась дыханию, но, вместо того чтобы наслаждаться живительной бодростью, износившийся организм повлекся в неурочный сон. Неодолимый, глубокий сон, которому не мешали ни толчки, ни

радио, включенное водителем на полную мощность, ни неудобство позы, ни подъемы и спады, отчего ватное тело то вжималось в спинку сиденья, то клонилось вперед, ни смех и болтовня спутников. Этот стариковский сон слабости был мне легок, здоров и приятен. Я спал, как лишь в детстве спалось в сотово издырявленных древоточцами, розоватых, медово пахнущих стенах акуловской дачи под шорох дождя в сиренях.

Изредка опамятываясь, я видел или зеленую, под очистившимся, заголубевшим небом равнину, или ребра и огладья горных склонов, или лес в дымчатом выпоте, вспоминал, кто я и куда еду, и вновь радостно засыпал.

Проснулся я окончательно в городке Фредрикстаде, где мы заплутались, упустив нитку дороги. Мы стали спрашивать прохожих, где живет Юхан Борген. В Осло городок Фредрикстад казался столь приближенным к писателю и столь малым, захолустным по сравнению с его всесветной славой, что мы полагали: достаточно добраться сюда, и дело сделано.

Ничего подобного. Маленький Фредрикстад, предлагающий своим обитателям множество до отказа набитых магазинов, прекрасный парк и летнее кафе при нем, рестораны, бары, кино, бензозаправочные станции и все, что требуется для работы и быта, а завершившим земной путь — влажное, тенистое, кощунственно соблазнительное кладбище, не считал себя довеском к чужой славе и, утверждая свою независимость, упорно отказывал нам в нужной справке. Наконец мы сообразили спросить об острове Асмалене, и тут какая-то сердобольная душа снизошла к нашим мольбам. Резко кинула направление загорелая рука, простуженный морской голос добавил ориентир: проехать шесть мостов.

Мы выкрутились из узких улиц и принялись отсчитывать мосты то ли через реки, то ли через щупальца фиорда. И на одном самом широком и длинном мосту нас остановила застава — пришлось уплатить «мостовую» пошлину. Опахнутые веем средневековья, мы выложили сорок пять крон, за что получили карту местности и возможность двигаться дальше, к новым мостам, свободным от застав.

Нас было четверо: мой московский друг, правивший машиной, преподаватель Ословского университета, любезно взявший на себя роль переводчика, его сын, студент медицинского института, и я. Каждый из нас старательно отсчитывал мосты, но цифры почему-то не сходились. Километры наматывались на колеса, и неуверенность наша все возрастала, но отступать было некуда. Мы продолжали мчаться вперед, а вода то подступала широким разливом и едва не заплескивала на шоссе,

то съеживалась в ослепительные пятаки и лепты. И вдруг воды не стало, дорога уцепилась за обрывистое подножие каменистого кряжа в зеленых и бурых, с красной искрой лишайниках. Два-три витка, и впереди вновь простерлась вода — широкая и спокойная. Из нее выгорбились гранитными спинами острова. Хрипатый житель Фредрикстада не обманул нас, где-то тут укрылся Юхан Борген, но нам никогда не добраться до него, нельзя же верить тоненькой ниточке еле слышного телефона. Я забыл, что в Норвегии, коль тебе посчастливилось о чем-либо договориться, недоразумений не бывает.

Машина остановилась на краю берегового откоса, под которым находился деревянный причал. И тут же из серповидного ботика с высокими бортами и круто задранным носом поднялся молодой человек в старой кепке, кидавшей тень на загорелое лицо, ловко прыгнул на берег, в несколько рывков одолел кручу и подошел к нам, уже издали протягивая загрубелую руку. С красно-загорелого, обветренного лица растерянной, беззащитной, какой-то раненой добротой глянули ярко-голубые лучащиеся глаза. Я пожал его крепкую руку, поймал свое отражение в глубине раненых глаз и что-то с болью понял.

Сойти в колеблемую волной лодку с высокой пристани было делом нелегким, но мускулистая рука Боргена-младшего помогла нам справиться с этой задачей. Взревел, играя в ярость и силу, старенький мотор, расположенный не на корме, а посреди ботика, и мы затрюхали по мелкой зеленоватой волне к ближайшему острову. Три гуся прошли над нами, вытянув шеи, будто всматриваясь в далекую манящую цель и согласно взмахивая широкими крыльями. С их мощно-плавных крыльев низошла великая тишина. Я вдруг заметил, как тих нетронутый мир: он не гудит, не скрежещет, не визжит, не вопит, в молчании свершает свою серьезную жизнь. Молчаливы вода и небо и поросшие молчащими деревьями берега. Тут и мы, суматошные, источающие столько ненужного шума людишки, включились в благостную тишину, заглушив мотор и продвигаясь к причалу — дощатому настилу на сваях — одной лишь силой разгона. И мягко прибортились…

На каменистом острове, на самом его взгорбке, стоял большой деревянный дом; худенькие ветлы и низкие, приклоненные сосенки не давали ему ни тени, ни защиты от ветра, да, похоже, дом и не нуждался в этом, привычно и легко напрягаясь против стихий своими терпеливыми ребрами. Позже мы обнаружили, что жилище Боргенов состоит из двух домов: старого, более чем столетней давности, и пристроенного к нему молодого дома, но от причала зрился лишь старик, выбеленный

ветрами и солеными заплесками, будто поседевший.

Вверх по узкой тропке, навстречу истошному лаю, ничуть не мешавшему тишине, лишь подтверждавшему ее гулкую емкость, навстречу поднявшейся с камня молодой смуглой и черноволосой индианке в чем-то ярко-желтом. И не уловить было, как произошло ее превращение в пожилую норвежскую женщину с двухцветными волосами, рыжеватыми у корней по широкому разлому двух жестких угольных крыл, с цепким, вбирающим взглядом и спокойной складкой темных губ. То была жена Юхана Боргена Аннемарта, уроженка заполярного города Буде.

Я пожал небольшую, по-мужски твердую руку Аннемарты, в разрезе вязаной кофты, на смуглом подъеме груди покоилось украшение из бус, колечек, разноцветных камешков. «Здравствуйте, — сказала она и тут же спросила: — Так?.. — И, получив подтверждение, что именно так: — Я учила русский. В Осло. Все забыла». Ее низкий надежный голос звучал приветливо, но большое, свободное лицо сохраняло хмуроватую серьезность, не корчась в любезных улыбках. Эта женщина привыкла воспринимать жизнь как долг и заботу и не тратила себя ни на пустые условности, ни на преждевременную самозащиту. Она не приспосабливалась к новизне и не боялась ее. И мне вдруг перестало пахнуть нефтью.

Только сейчас я понял, что в этот приезд в Норвегию мне все время пахло нефтью. Ею пахли разговоры и споры, в которых слово «нефть» даже не произносилось, поведение самых разных людей, не имеющих ни малейшего отношения к нефтедобыче, сместившаяся в сторону отчуждения повадка иных знакомых и даже тех, кого я считал друзьями, пахли море и суша, и сквозь плотный аромат пышных столичных сиреней едко тянуло нефтью. Утверждения, доводы, надежды, апломб — все пахло жирной переливчатой жидкостью — черной кровью современного мира.

А здесь пахло — немного морем, немного нагретым камнем и очень сильно — освобожденным от корысти достоинством человека. Аннемарта посетовала, что лето в нынешнем году безбожно опаздывает и мы не услышим запаха даже самых ранних слабых роз. В ее розарии, разбросанном вокруг дома по всему участку, более семидесяти сортов. Розы собраны на клумбы и гряды, их кусты окружают дом с четырех сторон, образуют аллейки в саду, прячутся за деревьями и хозяйственными постройками, и все роскошество — на тонюсеньком, в несколько сантиметров, слое родящей почвы, под которой камень. Это какая-то разновидность гранита. Он — всюду, куда ни кинешь взгляд. Им сложены напирающие на участок горные склоны и круча береговой пади, он обнажается меж огородных грядок и

кустов, у подножий деревьев, под дверным порогом.

Камень царит в просторе. А точнее, тут троецарствие: камень, вода, небо, совсем как на пейзажах Рокуэлла Кента, только без его резкости и контрастности. Здесь все мягче, переходчивей, слиянней. Деревца, кусты, цветы, мхи зрятся лишь в приближении, как сквозь лупу, взятый же нацельно простор являет очарование чуть размытой лунной наготы.

Захлебистый лай преградил нам подход к дому. Но напрасно сдержали мы шаг: собаки исходили обороняющей яростью в загоне из железной мелкоячеистой сетки. Черные, короткая шерсть дыбом на загривке, с лисьими, только чуть более тупенькими мордами, они принадлежали к той чудесной породе, которую в Скандинавии называют «перекресток дорог». Но Аннемарта, будто разгадав мои кощунственные мысли, самолюбиво сообщила, что тут слились весьма аристократические крови. Хозяйка отпахнула дверцу: черный, визжащий, рычащий клубок выкатился из загона и распался, превратившись в трех добрячек. Маму звали Шальме, дочерей — Куре и Вире. Шумная компания скрылась в доме, а я задержался. Мне почему-то захотелось побыть одному. Тем более что Аннемарта предупредила: Борген выйдет немного позже, ему с утра недужится — сердце, Я слонялся по участку, узенько втиснувшемуся между горным склоном и обрывом. Каждый клочок земли средь валунов, гранитных выбросов, хрящей и каменюк понужден растить что-либо: розы, тюльпаны, весенние крошечные астры, кусты краснотала и шиповника, сосны, березки-кривулины, ивняк, какие-то овощи. Там и тут, в прислон или в лежку, — сельскохозяйственные инструменты; кирки, мотыги, лопаты свидетельствуют, как нелегко извлечь зеленую жизнь из здешней почвы. Весь отвоеванный у тверди участок в протяженности и ужине своей с трогательным тщанием обуючен. Видать, жена и сын любовно потрудились для Юхана, чтобы ему хорошо и удобно было в своем уединении. Деревянный столик со скамейкой под ветлами, диванчик и креслица в кустарниковой тени, другой диванчик на нестрашном здесь, в морской остыни, солнечном припеке, близ роз и тюльпанов; гладкий чурбачок, пригодный для передыха, с края огорода, охраняемого от птиц насаженным на шест черепом. Тут же валяется отбитая фарфоровая головка куклы — след неведомой мне жизни этой семьи. Но праздных, случайных предметов мало, все нужное: пластмассовые канистры, машина для стрижки газона, свернувшийся змеей поливальный шланг, садовые ножницы.

Таким же насыщенным до предела оказался и самый дом. Едва переступив порог, я понял, что не квартира в Осло, а эта

островная хижина является главным обиталищем писателя. Борген, знать, не из тех, кто равнодушен к бытовому наполнению жизни, к предметным знакам минувшего. Дом набит старинными вещами, фотографиями, картинами, рисунками, вышивками, какими-то странными композициями из тканей (автором оказалась Аннемарта), поделками народного искусства; мебель большей частью старая, из чистого природного дерева, не униженного полировкой, а если где и лоснится, так от долгой службы. И домотканые коврики, и шкуры, и всюду книги, журналы, газеты, какие-то проспекты, каталоги, — семья не исключает себя из современного мирового круговорота, просто живет наособь.

Борген не появлялся довольно долго. Хозяйка принесла несколько больших запотелых бутылок белого вина и разлила по бокалам. Прозвучало традиционное норвежское «Сколь!», я отпил очень холодного, чуть горчащего бордо и поймал себя на мысли, что готов уехать, вот так уехать, едва прикоснувшись к быту Боргена и даже не увидев его самого. И дело было не в том, что лишь сейчас до меня дошло, насколько обременителен наш приезд старому и, очевидно, очень больному человеку. Ну что я, в самом деле, восторженный собиратель автографов и улыбок великих людей? Что может дать этот летучий визит, этот промельк в окне мчащегося поезда, кроме печали и разочарования? Нельзя же всерьез верить, что меня «осенит свет истины». Я увидел место, где текут дни старого писателя, заглянул к нему в дом, прикоснулся к вещам, окружающим его исстари, выпил ломящего зубы вина с его женой, поймал улыбку сына, так чего же еще надо? Теперь, когда я буду перечитывать «Маленького лорда» или знакомиться с новыми произведениями Боргена, сквозь строки будут светиться и этот каменистый остров в звоне несказанной тишины, и дикие гуси с вытянутыми шеями, и Шальме-Куре-Вире, и садик на камнях под стать японскому, и оторванная головка куклы, и рыжеватый пробор в угольно-черных волосах пожилой царицы роз, и глубже станет ощущение писателя — этого довольно. Оставить ему книжку, изданную в Осло, с доброй надписью, выпить последний бокал вина с Аннемартой и — по домам! Не надо вторгаться в тишину того, кто избрал уединение. Но было поздно. На пороге комнаты стоял Юхан Борген. Боже, как он ветх и худ, как обобран возрастом и болезнью!

Я осторожно пожал его теплую, сухую, почти невесомую руку. О, как грозно хрупка оболочка, приютившая такой могучий дар! Он довольно высок, но плоск и тонок, как травинка. Ему нельзя выходить на ветер, особенно когда злой норд пластает деревья на

его участке. Если за ушами от старости глубокие провалы, в народе это называют «лошадиной головой». А чело высокое и чистое, и сквозь толстые стекла очков лучатся небольшие светлые застенчиво-проницательные глаза. Уши с четкой лепкой раковин не прижаты к почти голому черепу, а жадновато сориентированы на собеседника. Глаза и уши писателя — соглядатая-слухача. Худая крупная кисть то и дело непроизвольно тянется к сердцу, нашаривая тревожащую боль под вязаным жилетом. Его неимоверную худобу облегают жилет и шерстяная кофта, старые брюки и клетчатая рубашка с широким воротом, застегнутым на пуговицу под слабым кадыком.

Часто улыбаясь запавшим ртом, Борген говорит, что рад нашему приезду. Очень рад и благодарен от души. Все идет по протоколу. Но с каким-то растерянным выражением он продолжает: его тронуло, смутило, обрадовало, но еще больше удивило, что писатель чужой страны захотел увидеть его и не поленился проделать такой длинный путь. Конечно, он не дипломат и несколько пересаливает, вернее, переслащивает. Я возражаю: нет ничего удивительного в том, что стремишься увидеть своего любимого писателя. «Но вот это меня и удивляет!» — засмеялся Борген и вытер очки. И тут пришел мой черед удивляться: Борген вовсе не платил дань вежливости, он на самом деле искренне и смущенно недоумевал, с чего вдруг кому-то понадобился. Подобная скромность, хоть и обескураживает, все же неизмеримо приятнее елейной спеси *мэтра*, снисходительности старого мудреца и прочих ипостасей живого классика национальной литературы, с которыми я вполне мог столкнуться. Благодарный, я сказал, что вовсе не являюсь белой вороной среди моих соотечественников: на «Маленького лорда» в библиотеках всегда очередь. Борген шатнулся к книжной полке и безошибочно извлек том в черном переплете — «Маленький лорд» в издании «Прогресса». Большая полка была забита иностранными изданиями Боргена.

Он повертел в руках бедно изданный том, уважительно пошевелил изжелта-серые страницы.

— Значит, есть еще место, где меня читают, — и опять засмеялся.

Этот искренний, смущенный, какой-то детский смех исключал литературное кокетство, и уж подавно не было в Боргене той сосущей неудовлетворенности, что отравляет дни и ночи причастных непосильному делу литературы, даже самых взысканных славой, почестями, деньгами. Почти каждому писателю кажется, что ему недодали, ах как недодали по заслугам!

— А разве вас мало читают? — спросил я.

— В Норвегии?.. — Он посмеивается и гладит сердце, успокаивая, чтобы не рванулось прочь из грудной клетки. — Книги выходят — значит, раскупаются. Несколько тысяч экземпляров всегда разойдутся, хотя бы для того, чтобы занять место на полках. И потом — старики, пенсионеры, у них уйма свободного времени. Но ведь главный читатель — молодежь. Там другие кумиры.

— Какие?

Он посмеивается.

— Не знаю… другие.

— Кумиры на час?

Снова смешок. Борген слишком норвежец, чтобы злословить, кого-то осуждать.

Я знаю за собой свойство — выдумывать наперед человека, вместо того чтобы постигать трудным, долгим усилием, и иметь дело с таким вот выдуманным человеком, отметая прочь все, что не сживается с заранее сочиненным образом. Но Боргена я не хотел придумывать и не стал этого делать, а, зримый, он как-то не давался мне. Он говорил, посмеивался, смущался, лучился из-за толстых стекол искренней добротой, даже пил вино, поднося дрожащей рукой бокал к моему бокалу — стеклянные выпуклости соприкасались без звона, — и пригублял поплескивающую золотистую жидкость — словом, не только присутствовал, но и находился с окружающими в живом обмене и все же безнадежно ускользал от меня. И недобрым словом поминал я пресловутую норвежскую сдержанность, доведенное до абсурда чувство такта: только не навязывать себя, своих мнений, чувств, не быть в тягость, не подавлять избытком индивидуальности, а смазаться, раствориться в облачко неопределенной благожелательности, дающей полную свободу другому, другим. А мне не хотелось этой свободы, мне хотелось зависимости от Юхана Боргена. Видит бог, я уже любил его — не за «Маленького лорда» и не за старую Лиз из дивного рассказа об одиночестве, а просто любил — его старое лицо, благородную округлость черепа, его бледные руки, милую худобу, улыбку, очки, застенчивый смешок. А он упорно не хотел уловить чужую душу, в нем не было ничего от проповедника, пророка, учителя, провидца, носителя истины, ничего толстовского.

…Почему-то заговорили о путешествиях. Я спросил Боргена: много ли он путешествовал?

— О нет! Куда меньше, чем хотелось бы. Когда были силы, не было денег. Теперь есть деньги, но нет сил. Конечно, я кое-что повидал… И в Старом, и в Новом Свете, даже в Африку забрался.

Это были скорее странствия, нежели путешествия.

— А похожи норвежцы на японцев? — спросил я, усугубляя дурь вопроса скверным английским произношением.

— Я как-то не думал над этим. Наверное, похожи.

— В самом деле?

— Норвежцы немножко похожи на шведов, датчан, исландцев, финнов, немножко на русских, немножко на американцев и англичан… Мне кажется, они немножко похожи на всех людей в мире. Так зачем же исключать японцев?

Ответ оказался умен не по вопросу.

— А ездить и видеть мир — счастье, — сказал Борген, чуть приоткрывая створку раковины. — Особенно если можешь любить города, как людей. Вы можете?

— Кажется, могу.

— Ах, как я люблю Париж, Лондон, Копенгаген, Рим, Афины, Лос-Анджелес, Каир!.. — Он боялся пропустить хоть один любимый город. — Но сейчас они кажутся мне призрачными, как будто я придумал, что бывал там… Как будто я вообще придумал их.

А ты, видать, не так уж счастлив на своем острове! — вдруг понял я. Видимо, порой мне удавалось настраиваться на его волну. Вот и сейчас я знал, что он ускользнул из настоящего, затерялся где-нибудь в Копенгагене или Лос-Анджелесе своей молодости, и мой вопрос грубо втащил его в действительность, но он подавил в себе чувство жалости: нагрезится вдосталь, когда я уеду.

— «Маленький лорд»… это о себе?

— Конечно, — сказал он как о чем-то само собой разумеющемся.

— Но в конце… вы же ненавидите своего героя?

— Это в порядке вещей. Только себя человек умеет по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть.

— А как надо понимать, когда он, голый, окровавленный, бежит от разъяренной толпы? Как метафору, как истинное, хотя и не укладывающееся в трезвом сознании происшествие, как сон, как кошмар дошедшего до абсурда страха перед расплатой, не столько даже за содеянное, сколько за предстоящее?..

— Но ведь все это одно и то же, — сказал Борген рассеянно, — поскольку безразлично к сути дела. И потом, так ли четка грань между тем, что случилось, и тем, что могло случиться? Адом в яви или адом в душе? Важно, что он это пережил: голый и беззащитный перед толпой, голый трус, голый беглец, он, считавший себя неуязвимым.

— А его приход к фашизму?..

— Это предостережение среде, порождающей людей с гипертрофированным «я». Но вообще… тут сложнее. Нельзя считать, что он стал убежденным фашистом. Он предает свой народ, но предает и гитлеровцев. Понимаете, в какой-то момент человек обязан сделать окончательный выбор, решить для себя, с кем он. А Вилфред с его ненавистью к людям и страхом перед ними этого выбора так и не сделал. И погиб.

— Нелегко, наверное, писать такой роман!..

Взгляд Боргена за очками напрягся.

— Когда я его кончил, у меня дергалась голова, дрожали руки, пропали сон и аппетит. Знакомый невропатолог сказал, что это от перенапряжения, что я слишком сильно пережил свою книгу… — И вдруг от глаз к вискам разбежались лучики, он беззвучно рассмеялся. — Но другой невропатолог авторитетно заявил, что все дело в белом сухом вине, которым я злоупотреблял. Ваше здоровье!..

Я понял, что он больше не хочет говорить о своем романе. И тут, весьма кстати, нас позвали к столу. За завтраком, состоявшим из омлета, черной, сухой, рассыпчатой, как дробь, норвежской икры, окорока, салата, масла и хлеба, под то же холодное бордо, разговор, как и обычно в застолье, двигался скачками — от одного предмета к другому вроде бы без всякой связи, но какая-то внутренняя логика в нем все же была. И не случайно подвернулся нам Кнут Гамсун, оказавший большое влияние на всех норвежских писателей, в том числе и на Юхана Боргена.

Борген. Я видел Гамсуна лишь однажды. Мы куда-то шли. Разговаривали, молчали. Что-то промелькнуло, не помню что. Я вынул блокнот и сделал заметку. И тут же Гамсун принялся мне выговаривать: мол, это все равно забудется, только завершенной, отделанной фразой можно сохранить образ явления, вещи. Если вы не доверяете своему воображению, его способности создавать что-то из пустоты, остановитесь и постройте фразу. Фраза — сачок, а ваша закорючка ничего не удержит.

Тут было над чем подумать…

Вспомнили о великом норвежском художнике Эдварде Мунке, чьи полотна украшают стены дома. Борген хорошо знал художника, дожившего до глубокой старости.

Борген. Мул к никогда не был сумасшедшим, сколько бы ни утверждали обратное.

Кто-то из собеседников. У него есть автопортреты, написанные в сумасшедшем доме.

Борген. В сумасшедшем доме он скрывался от сумасшествия так называемого нормального мира. Отдыхал среди корректных

профессионалов от раздерганных дилетантов безумия.

…Чувствовалось, что Боргену все труднее становится поддерживать беседу. Короткий завод кончился. Он что-то клевал, как птица, с тарелки, подносил бокальчик к губам, но куда чаще тянулся левой рукой к сердцу.

И, ловя последние мгновения, я спросил:

— Что вы сейчас пишете?

— Ничего. Если не считать коротких рецензий для газеты.

— Но почему?

— Устал… Болен. Да и кому это надо? — Он улыбнулся, затем спросил: — Как вы относитесь к радиотеатру?

Я пожал плечами:

— Сам не знаю… Хорошо, наверное.

— Стоит писать радиопьесы. Их слушают в деревне. Телевидение не совсем еще подавило радио. Его слушают в сельских местностях, особенно на севере, в рыбацких поселках.

Приверженность Боргена к радио я понял, когда, встав из-за стола, мы обменялись книгами. Его последний сборник, который он мне подарил, включает наряду с рассказами радиопьесу. Он сетовал — если только это слово подходит к покорно-иронической печали, звучавшей в его словах, — на охлаждение к нему современного читателя, радио дало ему новую связь с простыми людьми Норвегии, которые не покупают книг, но в своей глуши жадно ловят радиопередачи.

— Юхану надо немного полежать, — сказала Аннемарта. — И он снова выйдет. А мы пока попьем вино во дворе.

И, подавая пример, с полным бокалом направилась к дверям. Борген улыбался, румянец сплел паутинку на бледных щеках, он как бы просил извинения за свою слабость. Потом повернулся и, прижимая к впалому животу мою пестро одетую норвежскую книгу, зашаркал в глубь дома.

Провожая Боргена взглядом, я чуть задержался, и, когда вышел, во дворе уже составились прочные группы: переводчик чокался с Аннемартой, его сын разговаривал с мастерившим что-то у сараюшки Боргеном-младшим, мой друг дразнил Шальму, Куре и Вире, вновь загнанных в свое проволочное псовище. Я выбрал пару: фру Борген — переводчик и присоединился к ним.

— …да, на мотоцикле, — говорила Аннемарта, прихлебывая вино. — Его склеили буквально из кусков. Но то рука, то голова… Десятки операций, даже в Англию возили, ничего не помогало. С учебой, конечно, было покончено. Это длилось годы. А потом как-то выправился, только стал очень добрым, слишком добрым, невозможно добрым, как Христос. Готов все с себя отдать. Он не может владеть тем, чего нет у другого. Вот и живет при нас.

Она говорила о сыне. В своей драненькой тужурке, заношенных брюках и насунутой на нос кепчонке он усиливался против какой-то хозяйственной железяки, которую требовалось согнуть, в тени наклонившегося над ним рослого, красивого сына переводчика. Улыбка безмерной, безысходной доброты искажала его черты почти что гримасой страдания — ему нечего было отдать собеседнику. Хорошо же устроен мир, если человека, единственный изъян которого — доброта, нельзя отпускать с отчего порога. Но ведь так было всегда. Боргены сделали правильный вывод из скорбного примера плотника Иосифа и жены его Марии, не удержавших сына возле пахучих стружек и теплого хлева.

Внезапно появился Борген с моей книгой в руке.

— Ты уже встал? — удивилась жена.

— Нет, еще не ложился… Я прочел предисловие. — Он многозначительно посмотрел на меня, покивал головой, улыбнулся — у сына была отцовская улыбка, только доведенная до критической черты, — повернулся и побрел прочь.

Утих даже тот слабый ветерок, который мышью шуршал в кустах, траве, каменистой пыли. Совершенная, хрустальная тишина повисла над всем оглядьем: водой, скалами, грядой островов. Бесшумно налетели чайки, покружились над домом и сгинули, как растворились в пустом воздухе. Потом в бесконечной выси два коршуна стали низать олимпийские кольца, и вдруг один из них, что-то высмотрев, косо, через крыло заскользил вниз.

И заскользили мои мысли вкось всего, что уже думалось и соображалось в последние дни. Борген мало сказал о своем романе и почти ничего о своей стране. Но неужели я всерьез рассчитывал постичь в коротком разговоре чужую древнюю страну? Да знаю ли я свою собственную страну, с которой мучаюсь общей мукой вот уже скоро шесть десятков лет? Ну а узнал ли я что-нибудь о самом Боргене? Может быть, что-то и узнал, сразу не понять. Да и надо ли понимать? Разве очарование человека не важнее всех головных построений?..

Так утешал я себя, предчувствуя то горькое ощущение упущенных возможностей, какое наверняка заточит мне душу, как только мы расстанемся с Боргеном.

А он опять появился, цепляя землю ногами. Усталость высосала лицо. Наш приезд выбил его из привычного режима, разволновал, лишил необходимого отдыха.

— Я прочел первый рассказ, — сказал он мне приглушенно-значительным тоном заговорщика.

Но нам не удалось развить наш маленький заговор против

тех, кто не пишет рассказов и не читает их так. В голосе фру Борген пророкотала надвигающаяся гроза.

— Иди отдыхать, Юхан!

— А вы не уедете? — спросил он жалобно.

Но теперь мы поняли, что должны уехать сразу, иначе он не угомонится.

— Нам пора. Спасибо за встречу.

— Это я должен вас благодарить.

Его легкие руки в моих руках. В Норвегии не целуются с посторонними, не знаю, целуются ли с близкими. Я просто держу в своих ладонях эти невесомые, худые, милые руки, просвечивающие розовым, как фарфор, меж тонких пальцев. Его рот слегка шевелится, будто разминает какие-то слова, которые все равно не будут произнесены вслух: ведь маленького Юхана, как и всякого норвежского ребенка, научили не выдавать своих чувств. Мне было грустно, разве мог я предполагать, что в недалеком будущем узнаю, о чем молчал тогда Юхан Борген.

И он уходит. И вот уже скрылся в доме. И какая настала тишина!..

Никому из нас не выпало вульгарной участи первому нарушить эту великую тишину. Пронзительный свист рассек мироздание, вслед за тем низвергнулся чудовищный, сминающий душу грохот, и все вокруг, и мы сами превратились в безобразный, отвратительный грохот, несовместимый с достоинством места: тихими водами и немым камнем. Три сверхзвуковых истребителя с расположенного поблизости натовского аэродрома стали выписывать тренировочные круги, нагоняя собственный, сильно отстающий грохот. Не было тишины и у этого затерянного уголка земли, не было тишины у Боргена.

И прощались мы с Аннемартой под ломивший уши, высасывающий сердце и обеззвучивающий речь, с ума сводящий шум. Борген-младший звал нас улыбкой в путь. Аннемарта величаво опустилась на пригретый солнцем камень с налитой всклень рюмкой в руке, и не успели мы достичь причала, как вновь обернулась черной, смуглой, недвижной, будто изваяние, индианкой, колдуньей — хранительницей малого, истребленного племени, противопоставив грозному шуму тишину каменной недвижности и порядка в себе самой. Мы махали ей, но разве отзовется изваяние?

При расставании на том берегу молодой Борген мучился, чем бы нас одарить. Но ничего не было, и он сказал проникновенно:

— Приезжайте на будущий год, уже отменят мостовую пошлину.

Все-таки он исхитрился подарить нам сорок пять крон…

Я еще оставался в Осло, когда пришло письмо от Боргена на имя переводчика, но адресованное всем нам. Письмо удивительно трогательное и грустное. Я все-таки не понимал до конца, как искренен Юхан в каждом слове и как он одинок. «Я испытываю странное чувство, когда находятся люди, рассматривающие меня как лицо, имеющее какое-то значение, — признается всемирно известный писатель. — Поэтому мои ответы на задаваемые вопросы бывают так бессодержательны» И он корит себя за «неуклюжесть и недостаток умственной гибкости» — это Борген-то, один из умнейших и образованнейших прозаиков века! Если б за этим была лишь преувеличенная скромность деликатной и стыдливой души! Но все куда печальней. Ледяной ветер одиночества… Нет среды, нет единомышленников, нет веры, что твое дело кому-то еще нужно. И прошлое, которое было таким наполненным, живым, гулким, представляется сном. «Я объездил много стран, выступал с чтением своих рассказов, играл на сцене и даже читал лекции, сейчас все это кажется не бывшим или принадлежащим совсем другому человеку».

Почему современники так неблагодарны, так жестоки к своим певцам? Почему торопятся воздать холодом, равнодушием или подчеркнутым пренебрежением за былое поклонение, славословия, упоенность? Не спешите, старые песни нередко оживают и опять ширят душу и ведут в бой, в то время как новые, что пьянят сейчас, оборачиваются немотой. Будьте же, люди, добрее и терпеливей к тем, чьими сердцами вымощены дороги веков.

«Я сам удалился от всего того, что называют литературными кругами. Но в действительности изоляция совершилась задолго до того, как мы покинули Осло и весь свет. Издавна любимые мной города кажутся призрачными. И вдруг все это оживает, становится близким благодаря короткой двухчасовой беседе. Какой благостный толчок». И еще Борген называет нашу встречу «стимулирующей», ведь он узнал, что его читают и любят.

Почему-то я рассматривал свидание с ним лишь со своей точки зрения: что даст оно мне. Я заранее исключал, что и для Юхана Боргена это может что-то значить. Наверное, я тоже скромный человек. И то, что получилось из этой встречи, куда больше и важнее моих бедных расчетов.

И особенно радостно: Борген ощутил прибыток энергии, ему захотелось действовать, бороться. «Пора уже сделать что-то с нашими чересчур скромными знаниями о русской, точнее, советской литературе… У меня часто бывает такое ощущение, что там (имеется в виду газета «Дагбладет», где сотрудничает Борген. — *Ю. Н.*) ко мне вежливы просто как к ветерану. Тем не

менее я постараюсь сделать все в этой области, насколько позволит мне остаток моих сил».

Прекрасное намерение, но еще лучше — пробудившееся в нем желание писать. Ради этого стоило платить пошлину не на одном, а на всех шести мостах, что сцепляют дорогу, ведущую из норвежской столицы к месту его добровольного изгнания.